

Научное приложение. Вып. CLXXVI

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С РОЛАНДОМ БАРТОМ?

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Под редакцией С. Н. Зенкина и С. Л. Фокина

МОСКВА
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
2018



УДК 796.332(091)(4-11)
ББК 75.578,3(45)
Б25

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Научное приложение. Вып. CLXXVI



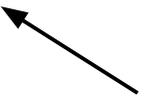
Б25 Что нам делать с Роланом Бартом? Материалы международной конференции, Санкт-Петербург, декабрь 2015 года / Под редакцией С. Н. Зенкина и С. Л. Фокина. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 160 с.



ISBN 978-5-4448-0755-2

Книга содержит материалы международной конференции, организованной на факультете свободных искусств и наук СПбГУ в декабре 2015 года в ознаменование 100-летнего юбилея выдающегося французского писателя, критика, теоретика культуры Ролана Барта (1915–1980), творчество которого хорошо знакомо российскому читателю. Сегодня, спустя несколько десятилетий после его смерти, пришло время заново оценить значимость и применимость его наследия для современной культуры: что мы можем сегодня делать в ней, опираясь на идеи Барта? В конференции приняли участие исследователи из Франции, России, Бельгии, Швейцарии, Германии. Статьи зарубежных авторов печатаются в русском переводе. Книга предназначена студентам и специалистам по эстетике, философии, теории литературы, истории французской культуры XX века.

УДК 796.332(091)(4-11)
ББК 75.578,3(45)



© Авторы, 2018
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018



ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня Ролана Барта часто воспринимают как писателя, а его книги — как литературные тексты неопределенного жанра (эссеистического, автобиографического), предназначенные для нетранзитивного, неинструментального чтения: ими можно наслаждаться, их интересно интерпретировать, в них проявляются вкусы, привычки, жизнеощущение их автора. Однако если некоторые поздние книги Барта действительно подходят под такое определение, он все же начинал свою карьеру как критик и теоретик (в его собственных терминах — не «писатель», а «пишущий»), его работы должны были служить целям научного исследования, социальной критики, самосознания литературы. Имеет смысл вновь обратиться к этой стороне его творчества и заново, в изменившемся научном, социально-политическом и культурном контексте, пересмотреть его наследие критика и семиолога. В какой мере оно сохраняет применимость для современной культуры, что мы можем сегодня *делать* в ней, опираясь на идеи Барта?

В России работы Ролана Барта традиционно читались как ответственные концептуальные высказывания, тогда как его поздние «литературные» произведения встречали сочувствие у приверженцев «постмодернизма», но одновременно и критику со стороны ученых-гуманитариев, видевших в них отступление от принципов рационального знания. Наследие Барта-теоретика в основном доступно в русских переводах, его идеи достаточно усвоены в русской интеллектуальной среде, поэтому в нашей стране уместно было организовать их коллективное обсуждение.

Попыткой такого обсуждения стала однодневная международная конференция «Что нам делать с Роланом Бартом?», которая состоялась в год 100-летнего юбилея Барта, 7 декабря 2015 года, на факультете свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета.

Участникам были предложены четыре основных направления дискуссии, четыре аспекта теорий Барта, актуальность которых предстояло критически проверить:

— семиология культуры (теория языка, знака и социального дискурса, функции знака в современном обществе и в идеологической борьбе);

— теория литературы (статус литературного письма, структура литературного текста, их исторические трансформации);

— семиотика и эстетика других искусств (живописи, фотографии, музыки, театра, кино);

— культуростроительные «утопии» Барта, постулируемые им дискурсивные проекты («наука о литературе», интегральное «письмо» в понимании 1970-х годов, возможная новая форма романа и т. д.).

В конференции приняли участие исследователи из Франции, России, Бельгии, Швейцарии, Германии. Координаторами проекта были Сергей Зенкин (РГГУ, Москва) и Сергей Фокин (СПбГУ, СПбГЭУ).

В настоящем сборнике публикуются статьи, написанные участниками конференции на основе своих докладов. Тексты зарубежных авторов переведены на русский язык. Некоторые участники конференции не представили своих статей, что заставило изменить порядок остальных текстов по сравнению с порядком докладов.

Павел Арсеньев

Женевский университет (Швейцария)

ЯЗЫК ДРОВОСЕКА

Транзитивность знака

против теории «бездельничающего языка»

Язык всегда вызывал подозрения — в неадекватности миру, сокрытии истинных целей высказывающегося, в конечном счете в двусмысленном выполнении тех функций, которое вроде бы являются его *raison d'être*. Ввиду опасностей, которые таит в себе язык как медиум, в рефлексии о нем регулярно предлагается ряд превентивных мер, призванных дисциплинировать его поведение, предотвратить ситуацию, в которой он может *отбиться от рук*, манкировать своими непосредственными сигнификативными и коммуникативными обязанностями. Подобные предписания часто уподобляют языковые операции трудовым или даже военным, что подразумевает представление о «чрезвычайном положении», которое оправдывает режим речевого дефицита, требует отказаться от языковой роскоши и налагает запрет на нецелевое расходование выразительных средств. Очевидно, что главной мишенью такой доктрины нужды является искусство, понятое как «целеполагание без цели» (Кант), «плохая коммуникация» (Шкловский) или «самонаправленный язык», и вообще всякого рода непрошенная искусность. Именно поэтому в суждениях здравого смысла суверенитет языка так же редко подвергается критике со сколько-нибудь просвещенных позиций, как и автономия литературы. Одним из редких исключений из этого правила является критика раннего Ролана Барта, направленная на самообращенность и самосознание знака и выраженная в фигуре «языка дровосека»:

Здесь вновь следует вернуться к различению языка-объекта и метаязыка. Если я дровосек и мне нужно как-то назвать дерево, которое я рублю, то, независимо от формы моей фразы, я высказываю в ней само дерево, а не высказываюсь по поводу него. Стало быть, мой язык — операторный, транзитивно связанный со своим объектом: между деревом и мною нет ничего

кроме моего труда, то есть поступка. Это род политического языка: в нем природа представлена лишь постольку, поскольку я собираюсь ее преобразовать, посредством этого языка я делаю предмет; дерево для меня не образ, а просто смысл моего поступка [Барт 1996: 272].

Язык дровосека

Кто угодно мог бы выбрать этого загадочного концептуального персонажа в качестве протагониста своей теории языка и кому угодно он бы подошел больше, чем Ролану Барту. Скорее всего, Барт заимствует этого концептуального персонажа у Бриса Парена¹, встраивая его в свою мифологию языка без коннотаций. Если в мифе вещи теряют память о своем изготовлении, то в критическом письме Барта в известной степени натурализуется само это понятие, представая как случайно попавшийся простейший пример². (И в особенности в одной из версий перевода «Мифологий» на русский язык соответствующий отрывок тяготеет к еще большей натурализованности «лесоруба» — то есть того, кто всего лишь рубит лес [Барт 1989: 115].)

Однако же ни это понятие, ни сам концептуальный персонаж не являются такими уж безобидными и еще менее нейтральными. Будучи рассмотрено сколько-нибудь подробно, это понятие рискует обнаружить трещину в самой концепции «мифологий». При всей очевидной противопоставленности языка дровосека некоему более усложненному языку мифа их отношения оказываются не так однозначны. Барт называет деполитизированным (мифическим) словом такое, которое скрывает свою погруженность в условные отношения

¹ Сам Парен, французский философ, автор работ по философии языка (Brice Parain, 1897–1971), говорит не о дровосеке, а о крестьянине-земледельце, который в идеале вообще молчит. Это влияние, кроме того, могло быть опосредовано статьей Сартра о Парене. См.: [Зенкин 2006: 45, 53]. См. также: [Parain 1942].

² Парен упоминается Бартом как пример «эссеиста, выдвигающего обвинения против языка и строящего свое творчество на его осмеянии» [Барт 1989: 292].

сигнификации и натурализует вещи, подразумевая, что они могут что-то значить сами по себе, то есть в известной степени подразумеваемая прозрачность знака. Но и речевая практика дровосека определяется тем, чтобы сократить число опосредований между говорящим, или, точнее, между действующим, и объектом приложения его усилий («между деревом и мною нет ничего кроме моего труда»).

Этот парадокс несколько проясняется, если понимать стремление «высказывать само дерево, а не высказываться по поводу него» как претендующее на что-то вроде пролетарско-феноменологической редукции. Впрочем, если наше высказывание не ограничивается *усмотрением* дерева, но имеет с ним дело «постольку, поскольку намеревается его преобразовывать», то редукция должна носить скорее название *прагматической*¹. С другой стороны, такой агрессивно транзитивный характер высказывания с прямым дополнением («высказывать само дерево») явно не может сводиться к действию, но сохраняет свои чисто лингвистические или *интенсионалистские* амбиции (в противном случае Барт должен был бы просто предложить «перейти от слов к делу»). О схожем мысленном эксперименте Гегель писал:

Если они действительно хотели выразить в словах этот клочок бумаги, то это невозможно, потому что чувственное «это», которое подразумевается, недостижимо для языка. При действительном осуществлении попытки выразить в словах этот клочок бумаги он от этого истлел бы. Те, кто начали бы описание его, не могли бы закончить это описание, а должны были бы предоставить это другим, которые в конце концов сами признали бы, что говорят о вещи, которой нет [Гегель 1959: 58].

Резонно предположить, что «высказать само дерево» не проще, чем «выразить в словах этот клочок бумаги», даже если разрушение объекта не только допускается, но и в известной степени требуется операциональным языком дровосека. Тем

¹ По мнению Ю.С. Степанова, многие понятия прагматики в качестве отдельных концептов оформились в феноменологии, хотя еще и не составили единой философии языка. См. соответствующие главы книги: [Степанов 1985].

не менее очевидно, что ситуация, в которой «между деревом и мною нет ничего кроме моего труда», оказывается не проще, а сложнее семиологически устроена в сравнении с обыденной формой языка.

В результате этой *прагматической редукции* слово становится не меньше, но больше, будучи вынуждено теперь включать потенцию или историю отношений человека с вещами, которые привели к его возникновению (ср. потенциально бесконечное развертывание названия «дома, который построил Джек»)¹. Таким образом, «единственным языком, сохраняющим свой политический характер» Барт называет такой тип выражения, который весьма напоминает язык обитателей Лапуты из памфлета Свифта, решивших, из верности вещам, использовать их вместо слов [Свифт 2003]².

На этом фоне язык мифа кажется не такой уж плохой идеей: он упрощает вещи, элиминируя историю, и позволяет говорить на вторичном языке, *не касаясь вещей*, то есть упоминая, но *не работая их*. Кроме политической неблагонадежности, это все еще сохраняет известную противоречивость, так как «упрощение вещей» достигается за счет усложнения языковой иерархии и требует от нас введения понятия вторичного языка или метаязыка (который к тому же скрывает свои натурализующие функции). Простой (объектный) язык делает вещи сложными (а их выражение громоздким), язык же сложный, вторичный (метаязык) вещи подозрительно упрощает и, кроме того, деполитизирует говорящего.

Но это не последнее противоречие, рискующее изменить распределение симпатий читателя между мифическим языком и языком дровосека. Несложно заметить, что в противопо-

¹ Историю конструирования объектов/фактов требует подробно учитывать и Б. Латур: [Латур 2015].

² Ср. «Но если я не лесоруб, то не могу иметь дело непосредственно с этим деревом, я могу только высказываться о дереве, по поводу дерева; мой язык уже не является орудием воздействия на него; наоборот, воспеваемое дерево становится орудием моего языка; теперь между мной и деревом имеется нетранзитивное отношение; дерево не является более смыслом реальности как объекта человеческого действия, а становится образом, поступающим в мое распоряжение. По отношению к реальному языку лесоруба я создаю вторичный язык, то есть метаязык, с помощью которого манипулирую не вещами, а их именами...» [Барт 1989: 115].

ставлении принимает участие как (скрываемая) натурализация, так и сама натура (которой для собственной манифестации требуется, напротив, обнаруживать включенность в производственные и сигнификативные отношения). С одной стороны, именно мифическое слово представляет себя как невинное и природное, с другой — дровосек работает именно с деревом, то есть чем-то не только эмблематически материальным, но и эмблематически природным и натуральным¹.

Одним словом, такая *увриеристская* философия языка (*фр.* ouvriérisme, от *ouvrier* — рабочий), противопоставленная всякой другой, более спекулятивной работе языка, не лишена ресентимента (см.: [Серио 2012]). Ведь если в словаре Барта существует такая отличная от стиля категория, как *мораль формы* [Барт 1983: 313], то, вероятно, можно говорить и о морализаторстве, опасность которого возникает в подчеркнуто аскетической модели выражения. Однако для того, чтобы точно описать маршрут раннего Барта в этой одиссее прозрачного языка, необходимо описать следующие измерения.

Дровосек в трехмерном пространстве языка

По мнению Ю. С. Степанова, описавшего трехмерное пространство языка как определяемое осями семантики, синтактики и прагматики, в парадигме имени господствует представление о мире как совокупности вещей, размещенных в пустом пространстве, а проблемой соответствующей философии языка является даже не столько имя, сколько именно процедура именования. В синтаксической философии языка главным оказывается предикация, которая скорее выражает отношения между вещами, нежели именует сущности. Наконец, в третьем — прагматическом — измерении языка играют определяющую роль дейктические частицы, которые указывают

¹ См. у Барта: «Разумеется, для того, чтобы деформировать такой предмет, как дерево, мифу потребуются гораздо меньше усилий, чем для деформации образа суданского солдата; в последнем случае политический заряд совершенно очевиден, и необходимо большое количество мнимой природы, чтобы нейтрализовать его; в первом же случае политический заряд далеко не очевиден, он нейтрализован вековыми наслоениями метаязыка» [Барт 1989: 113].

на ситуацию и субъекта высказывания, единственно помогающих с точностью определить, о чем идет речь.

Все подсказывает, что столь аскетичная модель выражения, как язык дровосека, должна укладываться в парадигму имени, не обремененную множественной мерностью языка и потому позволяющую только «высказывать дерево» и ничего другого. И все же надо отметить, что и в рамках парадигмы имени (существующей от Платона до символизма) существует внутренний раскол, наиболее ярко отраженный в схоластических спорах реалистов с номиналистами. Дровосек Барта был бы здесь скорее на стороне Оккама, одного из наиболее ярких представителей номиналистского лагеря и провозвестника британской эмпирической философии языка. Согласно номинализму Оккама, бывшему «первым выражением материализма», по словам Маркса, признаются только единичные сущности, обладающие теми или иными качествами, тогда как все универсалии описываются как знаки операций ума (ср. «мой язык — <...> связанный со своим объектом: между деревом и мною нет ничего»).

Однако уже в этом определении очевидно, что семантическая изоляция имени от определяющих его свойств и исключение синтаксиса не принимают в расчет семиотических свойств знака, а «поиск имени» в символистской поэтике был и вовсе стремлением скорее к мистической сущности, эйдосу вещи, а не к точному именованию конкретных вещей, тогда как в случае дровосека важна строгая дескрипция объекта, а это уже напоминает скорее синтаксическую философию языка, или парадигму предиката.

В рамках такой парадигмы мир состоит не из неизменных сущностей, взывающих к именованию, но из фактов, требующих предикации. Если поэзия Малларме «состоит не из вещей, а из слов», то мир логического позитивизма состоит «не из вещей, а из фактов»¹. Таким образом, такие единичные объекты, как «дерево», не существуют сами по себе, но всегда включены в определенные отношения сигнификативного производства

¹ Впрочем, не кто иной, как Остин, говорит о склонности логического позитивизма к пониманию объекта на манер «товаров бакалейной лавки средних размеров».

и должны еще только быть предсказаны своими «дровосеками», не существуют до их труда (высказывания); ср.: «посредством этого языка я делаю предмет».

Будучи описан атомарным предложением, независимым от модальностей и пропозициональных установок высказывающегося («независимо от формы моей фразы, я высказываю в ней само дерево, а не высказываюсь по поводу него»), факт не столько именуется что-то вне языка, сколько выражает средствами языка отношение между коррелятами во внешнем мире («мой язык — операторный, транзитивно связанный со своим объектом: между деревом и мною нет ничего <...> в нем представлена лишь природа»).

Атомарные предложения, максимально близкие к данным опыта, образуют первичный, или «объектный» язык¹, тогда как пропозиции, утверждающие истинность/ложность этих предложений, относятся уже как бы к языку более высокого ранга, в котором возможно суждение о словах (а не только определение качеств вещей), их отрицание, обобщение².

Таким образом, опять в пределах одной парадигмы, на этот раз предикативной, обнаруживается внутренний раскол и одновременное признание и дисквалификация языков более сложных, чем «объектный». Но если позитивизм требовал замены имен логическим содержанием дескрипций, которые можно свести к протокольным предложениям об опыте³, что

¹ Который состоит из слов, выражающих непосредственно наблюдаемые качества, доступные без знания других слов, а также испытывающих дефицит логических операторов, что опять же напоминает «язык дровосека». Однако очевидно, что любой «вещный» язык, сколь бы он ни был материалистически обоснован, в конечном счете требует регрессии к логике «имен», пусть и «имен в синтаксическом смысле», как это имеет место в случае Рассела.

² Ср. схожий фрагмент у Барта: «если я не лесоруб, я могу только высказываться о дереве, по поводу дерева; мой язык уже не является орудием воздействия на него; наоборот, воспеваемое дерево становится орудием моего языка; дерево не является более смыслом реальности как объекта человеческого действия, а становится образом, поступающим в мое распоряжение. По отношению к реальному языку лесоруба я создаю вторичный язык, то есть метаязык».

³ Или, точнее, требовал двойственного ухода от процедуры именования — либо ниже, к протокольным предложениям опыта, либо сразу выше, к дескрипции, растворенной в предсказывающей пропозиции.

так напоминает ситуацию дровосека, то Барт все же говорит о замене имен не просто строгим логическим описанием, но неким «смыслом поступка».

Сущность акта предикации, таким образом, подразумевает даже не двойную, а тройную категоризацию высказывания: вещь — факт — событие. Если *факт* еще слишком близок лишенной пространственно-временной конкретности *вещи-как-таковой*, то обычным языковым способом его выражения является локализованное говорящим неповторимое *событие высказывания*. Сущность, растворенная грамматически в предикцирующих ее качествах, должна быть еще заземлена контекстом конкретного высказывания, чтобы мы наконец могли рассчитывать «высказывать само дерево, а не высказываться по поводу него».

Рассел пишет: «Факт <...> может быть определен только наглядно. Все, что имеется во вселенной, я называю „фактом“. Солнце — факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если одно утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным»¹. Таким образом, обнаруживая такой специфический факт вселенной, как акт высказывания (пропозиции), он в то же время готов обсуждать только факты того типа, которые делают истинным или ложным содержание этих фактов особого типа, но не собственную фактичность последних (то есть не факт высказывания, как Рассел сам его называет).

Если уж сводить язык к простейшим элементам, то не к физикалистским термам, а к элементам повседневного языкового и деятельностного опыта говорящего, то есть не к универсальному словарю, но практическому знанию-как. Так, уже в основании «картины языка» лингвистического анализа лежит понимание значения-как-употребления, то есть значения, заимствующего свою изначальную основу (а не последующие приключения) в практике привычного словоупотребления — в случае дровосека это практика рубки дерева

¹ Цит. по: [Степанов 1985: 126].

и «высказывания дерева» в самом этом поступке (ср.: «нет ничего кроме моего труда, то есть поступка <...> природа представлена лишь постольку, поскольку я собираюсь ее преобразовать»).

Все это ведет к тому, что язык дровосека необходимо рассматривать в парадигме прагматической философии языка¹. Впрочем, как уже было отмечено выше, язык бартовского дровосека уместно сопоставить и с феноменологической картиной языка, разделяющей ряд интуиций с прагматикой. По этой версии, в обычном нашем окружении большинство объектов-событий существуют постольку, поскольку обнаруживают для воспринимающего и говорящего различные возможности для действия и, следовательно, позволяют им приносить соответствующие значения. Из таких предметов-со-значением, созданных феноменологической интенциональностью, складывается соответствующий субъектно ориентированный жизненный мир — в случае дровосека это мир леса, в котором существуют деревья, ждущие его топора, придающего им единственное значение.

Наконец, прагматика является, с одной стороны, наиболее сложным, позднее всего открытым измерением языка, учреждающим рефлексивность знака в качестве наиболее общего и необходимого условия речевой практики, и потому Барт противопоставляет этому самосознанию знака редуционистскую модель языка дровосека; с другой стороны, знак в прагматике носит деятельностный характер, что Барт выражает в фигуре референта как «смысла поступка», который существует как бы в обход всякого интенционала, по дейктической модели значения (хотя «дерево» не является местоимением или иным дейктическим оператором и должно было бы иметь устойчивый смысл, дровосек Барта понимает «дерево» как своего рода эгоцентрическое слово).

¹ К слову, Степанов оговаривается, что если семантическую поэтику стремился создать Белый, синтаксическую — формалисты, то прагматическую — французские семиологи 60–70-х годов, к которым, очевидно, позволительно отнести Барта (хотя сам Степанов его не упоминает в этом контексте).

Изыщная словесность дровосека

Чтобы подвести промежуточный итог, можно сказать, что консервативный дефицит аутентичности часто заставляет обращаться к стихийной философии языка, стремящейся мотивировать понятия с помощью звука (а связи между ними — с помощью звуковых совпадений), тем самым погружаясь в этимологизм, в забвение произвольности знака. Изначальное стремление к прозрачности знака можно утолить путем окказионального переопределения морфематических границ, но такое предприятие все равно упирается в непрозрачность самих морфем. Тогда ищут помощи у оноματοпоэтических теорий.

Наряду с поэтическим, существует описанный выше позитивистский способ привязать язык к реальности, и сначала он может показаться более отвечающим идеалу «объектного» языка дровосека. Но когда до идеала *внутренне прозрачного* (то есть почти отсутствующего) знака добраться все равно не удается, следует попытка опереть значение на *прозрачность* (регулярность) *внешнего* — то есть употребления. Гипотеза, которой можно дать имя Витгенштейна — Волошинова, основана на том предположении, что если значение не *кроется* в неизбежно темной глубине языка (исторической, грамматической, etc.), то, возможно, значение *кроется* из внешних символических потоков и обменов, конструируется в употреблении¹. Так слова снова начинают значить, перестав *бездельничать* (что имело место, пока они оставались только семантическими единицами и не вовлекались в реальную прагматику коммуникации, отчего и вызывали столько эссенциалистских домыслов).

Если искать какие-либо аналогии «языку дровосека» в поэтике, нужно прежде всего вспомнить футуристов и подобные им авангардные движения, верившие в возможность реорганизовать язык в сторону большей мотивированности и одновременно большей действенности знака, культивируя

¹ В более поздней постструктуралистской версии П. Бурдьё это происходит через чистое различие.

его поэтическую потенцию, которую они понимали столь же транзитивно. Точно так же как революционно настроенная литература должна не отражать мир, а участвовать в его становлении (ср. у Маяковского: «Можно не писать о войне, но нужно писать войной»), идеальный адамический язык у Беньямина должен не медиализировать мир (тем самым рискуя не только отчуждением мира, но и самоотчуждением), но тоже каким-то образом совпадать с ним (ср. «высказывать само дерево» у Барта, «выразить этот клочок бумаги» у Гегеля). В этой странной попытке зацепить язык за реальность совпадают требования репрезентации и автономии языка. Такое совпадение знака с миром, однако, уже не сводится к его растворению в референции; напротив, приняв решение отвечать миру непосредственным образом (или, в других терминах, быть его индексальным знаком), знак становится индексальным и наиболее достоверным выражением реальности, а «вещь» — дискурсивным элементом ситуации высказывания и потому наиболее действенным его медиатором.

Таким образом, в фигуре «языка дровосека» разнесенность знака с миром не уступает, как может показаться, эволюционно более раннему, докритическому представлению (особенно почитаемому модернистской культурой и магическим языкознанием) о слове, которое должно существовать наравне с вещью или даже быть самой вещью, но скорее указывает на уподобление слова *действию*. Для того чтобы не допустить отката к теории языка как репрезентации (вещей), но при этом сохранить связь с внеязыковой реальностью, и необходимо постулировать транзитивность знака и его операторный характер.

Такой «язык дровосека» манифестируется не только в концептуальном персонаже послевоенной французской семиологии, но намного раньше — в художественных манифестах *литературы чрезвычайного положения*, объединяемых сближением движения пера и орудий физического труда: топора — согласно русскому фольклору, лопаты — в случае Шаламова¹ или даже оружия — штыка — в случае Маяковского.

¹ См. наш разбор метафор письма у Шаламова: [Арсеньев 2014].

К таким же случаям уподобления семиотического труда физическому, а знаков — физическим объектам и операциям, подразумевающим определенную философию языка и «мораль формы» в литературе, относится «литература факта» и «новый роман» (Nouveau roman)¹. Ближайшими родственниками дровосека Ролана Барта по типу отношения к языку и социальной практике в литературе оказываются, таким образом, автор советского производственного очерка — специалист, владеющий не объектным словом, но взглядом, направленным на «знакомые вещи» [Литература факта 2000: 85], или депсихологизированный повествователь «нового романа», отрекающийся от мира «значений» в пользу мира «самих вещей» [Барт 1996: 11]².

Драматургия дровосека

Чтобы рассмотреть подробнее один из примеров применения философии языка дровосека в искусстве, я хотел бы обратиться в заключение к ранним работам Барта о театре, которые совпадают с «Мифологиями» не только годами создания (1954–1956), но и самим *способом делания* (заметки о театральных постановках, как и описания отдельных «мифов», изначально публиковались в журналах — «Théâtre populaire»³ и «Lettres nouvelles» соответственно).

В театральной критике Барта, которую можно назвать *критикой (изображаемого) действия*, появляются те ходы мысли, в которых угадывается зрелый Барт: он говорит о бессмысленности натурализма, о восприятии только зримого (знаков),

¹ См. подробнее о специфических чертах, объединяющих литературу факта со школой французского «нового романа», возникшей в середине XX века как результат аналогичных поисков нулевой ступени письма и декларированного отказа от сюжетного повествовательного вымысла, в работе: [Арсеньев 2010].

² Хотя намерение «называть вещи своими именами» [Барт 1983: 327] конститутивно для литературы вообще, «литература факта» и «новый роман» подразумевают под этим нечто радикальное — замещение отстраненного индивидуального видения романтического гения видением включенным и профессиональным.

³ В создании которого сам Барт принял участие.

о маске, которой актер отмечается и возвышается, о реальных действиях (агонии), которые могут не иметь «театральной силы», о восприятии отношений, а не вещей, о знаке как условии эмоции. Но в то же самое время все эти образцово семиологические соображения Барт примечательным образом сочетает с чем-то совершенно иным. Так, в своих положительных рецензиях Барт говорит о «явлении знака во всей полноте» [Барт 2015: 39], выталкивающим из позиции любопытствующего буржуазного зрителя, но также и о приемах, «заходящих в подлинности знаков уж очень далеко» [Барт 2015: 41]. Об одной сохраняющей интеллектуальную неуступчивость пьесе Барт говорит как об основанной на *буквальности языка* без аллегорий и подмигиваний залу, о «языке, которого достаточно» [Барт 2015: 45]¹. Возможно, где-то здесь и возникает идеал языка, параллельно в «Мифологиях» доверенный концептуальному персонажу — дровосеку, но также еще всерьез рассматриваемый театральным критиком, только осваивающимся с постулатами Соссюра.

Строгое требование специфичности театральной знаковости распространяется у Барта даже на такой подсобный элемент, как костюм: материальное выражение общественного разноречия, он должен быть интеллектуально, а не только эмоционально функционален и, как всякий знак, транзитивен, то есть не превышать полномочия служебного инструмента. Уже здесь видно, что Барт как будто предвидит то удовольствие от текста, которое впоследствии его захлестнет, и старается избежать этого автотелического очарования, дисциплинировать знак.

На примере такого материального элемента театра, как костюм, Барт разбирает все пороки гипертрофии, которые

¹ Конструируемый идеал театральной речи уклоняется от тайны бессознательных страстей, расхождения между буквой и духом персонажа — в пользу буквально понятого публичного слова, страсти, развернутой граждански. Переход от перевоплощения к очуждению не только допускает, но и настаивает на связи знака с внешним миром («не то чтобы реалистичным, но помнящим об этой реальности» [Барт 2015: 103]). Барт также говорит о «знаковых действиях», вовлекающих человека в объективную действительность социальных отношений, предметов и труда, где реальная среда отказывается становиться знаком сути.

могут поразить знак. Их три: *веризм* (историческое правдоподобие деталей, доходящее до своей противоположности), *эстетизм* (сосредоточивающий внимание зрителя на паразитической тавтологии хорошего цвета или находчивой драпировки, позволяющей глазам пировать и даже способной снискать аплодисменты) и, наконец, *гипертрофированная роскошь* (кажущаяся наиболее надежным вложением денег, заплаченных за билет, но остающаяся в конечном счете поддельной). Настоящий костюм (как и знак вообще) должен быть аргументом не столько *зримым*, сколько прозрачно *прочитываемым* в своей политике знака (которую буржуазный театр стремится растворить в археологической достоверности, вырожденной и не означающей)¹. Знак также может быть *скудным* и *избыточным*, *буквальным* и *неадекватным*, *натуралистичным*² и *загромождающим*, словом, заключает в себе всю двойственность семиотического: он должен быть достаточно материальным, чтобы отчетливо обозначать, и достаточно бесплотным, чтобы не нагромождать паразитических знаков. Можно сказать, что молодой Барт еще питает некоторое подозрение по отношению к знаковой поверхности (хотя безусловно сознает ее *неотклонимость*) и создает политические ограничения для гипертрофии знака.

Иногда он даже говорит о принципиальной «изнашиваемости» знаков, которой противопоставлено физическое *присутствие* актеров, «переживаемое» и способное «заразить», в особенности заметное в античном театре (существовавшее там — как иногда можно понять Барта — помимо знаков), а теперь лишь декоративное, впавшее в *вырожденную знаковость*³. Эти обертоны у Барта можно назвать антисемиологическими⁴.

¹ См. подробнее: [Барт 2015: 69–78].

² «Невозможно обозначить (обозначить: подать сигнал, внушить) изношенность, надев действительно изношенную одежду <...> изношенность должна быть преувеличена» [Барт 2015: 75].

³ См. подробнее: [Барт 2015: 16–26].

⁴ В отличие от Лотмана, для которого знаки не могут служить медиатором ложного сознания, но всегда ведут только в мир высокой культуры, Барт принадлежит другой традиции, которую можно было бы назвать семиологией подозрения, и вся его концепция мифологий построена на опасности паразитирования идеологии на знаках.

Однако отношение даже раннего Барта — театрального критика и мифолога — к знакам, разумеется, сложнее отношения к ним дровосека. Так, в большинстве статей о Брехте смыслом становится не правда актерских переживаний, но *политическая взаимосвязь ситуаций*. Характерно, что сопротивляющаяся террору письма и мечтающая о сообществе без имен и признаков, выдающих людей ненасытному порядку, мамаша Кураж существует вне метаязыка¹. Подобно дровосеку, она существует в объектном, строго утилитарном языке, фразы которого строго приравняются к действиям, ведущим к изменению ситуации (а не описывающим ее). Хотя мы и пытаемся привычно обернуть факт в оценку, Брехт (и вслед за ним Барт) возвращает нас к *переходному содержанию человеческих действий*.

Точно так же, критикуя знаки цвета, «так и стремящиеся назвать свое имя» и занявшие место *субстанции цвета*², Барт рассчитывает оживить театральный предмет тем, чтобы обнаружить материал, из которого он сделан, — и это снова настолько же приближается к постулатам «языка дровосека», насколько характерно расходится с соссюрскими³. Однако движение к субстанциальности, если угодно, «каменности камня» необходимо Барту не как регресс к некоему дознаковому существованию, но, напротив, как умножение мерности знака, его функционализация. Из того, что может быть всего лишь реквизитом или вырожденным, гипертрофированным знаком, он стремится создать нечто третье, «сделав его не только правдоподобным знаком, но *инструментом, посредником между человеком и его делами*» [Барт 2015: 140].

То, чего должен добиваться драматург, по мнению Барта, — это не иллюзия правдоподобия, но смысловое наполнение,

¹ См. подробнее: [Барт 2015: 115].

² Отметим, что это не первое возникающее пересечение фразеологии Барта с понятиями, активно разрабатываемыми аналитической философией. Борьбе с абстрактными сущностями или субстанциями цвета был как раз предан Рассел, полагавший, что допустимо говорить только о конкретных предметах, предцированных названием цвета [Russel 1980].

³ Как известно, сущностным свойством знака Соссюр называл безразличие к физическому материалу единиц, погруженных в оппозитивные отношения.

причем не вещей по отдельности (что чревато болезнями знака), но именно *отношений*, в которые они вовлечены. В свою очередь, зритель должен не просто оценивать правдоподобие (знаков) вещей, но считывать историю их взаимоотношений с людьми. Другими словами, та модель знака, о которой говорит ранний Барт на материале пьес Брехта, также требует анализа уровня функционирования, или *прагматики*. Являясь в полной мере материей и в то же самое время идеей, знаком, брехтовская субстанция диалектична и стремится явиться не только в знаке и не в его избегании, но в *действии*. В таком «поэтическом строе вещей» функциональное в вещи поглощает ее саму, заражает ее чувством, настроением, возникающим в борьбе человека с неподатливой вещностью мира, в конечном счете даже наделяет моральной нагрузкой¹.

Библиография

- [Арсеньев 2010] — Арсеньев П. Литература факта как последняя попытка называть вещи своими именами // Транслит. Литературно-теоретический журнал. № 6–7. 2010. С. 37–53.
- [Арсеньев 2014] — Арсеньев П. Литература чрезвычайного положения // Транслит. Литературно-теоретический журнал. № 14. 2014. С. 40–53.
- [Барт 1983] — Барт Р. Нулевая степень письма // Семиотика. М., Радуга, 1983. С. 326–333.
- [Барт 1989] — Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М., Прогресс, 1989.
- [Барт 1996] — Барт Р. Мифологии. Перевод, вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. М., Изд-во им. Сабашиных, 1996.
- [Барт 2015] — Барт Р. Работы о театре. М., Ad Marginem, 2013.
- [Волошинов 1929] — Волошинов В. Марксизм и философия языка. Л., Прибой, 1929.
- [Гегель 1959] — Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. Т. 4. Система наук. Ч. 1. Феноменология духа. Перевод Г. Шпета. М., Соцэкгиз, 1959 (Академия наук СССР. Институт философии).
- [Зенкин 2006] — Зенкин С. Н. Сартр и опыт языка // Жан-Поль Сартр в настоящем времени / Материалы международной конференции; отв. ред. С. Л. Фокин. СПб., изд-во СПбГУ, 2006.
- [Латур 2015] — Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб., Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015.

¹ См. об этом также: [Волошинов 1929].

-
- [Свифт 2003] — Свифт Д. Путешествия Гулливера. Сказка бочки. Дневник для Стеллы. Письма. Памфлеты. Стихи на смерть доктора Свифта. М., НФ «Пушкинская библиотека», 2003.
- [Серио 2012] — Серио П. Языкознание ресентимента в Восточной Европе // Политическая лингвистика. № 3 (41). Екатеринбург, 2012. С. 186–199.
- [Степанов 1985] — Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., Наука, 1985.
- [Parain 1942] — Parain B. Recherches sur la nature et les fonctions du langage. Gallimard, 1942.
- [Russel 1980] — Russel B. An Inquiry into Meaning and Truth. London, Unwin Paperbacks, 1980.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
<i>Филипп Роже</i> Париж—Шарлотсвилл, Вирджиния Что нам делать без Ролана Барта?	7
<i>Сергей Зенкин</i> Москва—Санкт-Петербург Ответственность Ролана Барта	25
<i>Павел Арсеньев</i> Санкт-Петербург—Женева Язык дровосека: транзитивность знака против теории «бездельничающего языка»	43
<i>Вальтер Геертс</i> Антверпен Теория кавычек	60
<i>Карин Петерс</i> Майнц В безднах аффекта: о конституирующей власти мифа у Ролана Барта и Виктора Гюго	74
<i>Даниэле Карлуччо</i> Женева Текст как стоп-кадр: Ролан Барт и чтение в современную эпоху	100
<i>Анн-Сесиль Гильбар</i> Пуатье «Диоптрические искусства» по Ролану Барту: «единство вычленяющего субъекта»	114
<i>Андрей Логотов</i> Москва Слушающее тело Ролана Барта	135
Приложение <i>Антуан Компаньон</i> Париж Время писем, время письма (фрагменты из книги)	146

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ С РОЛАНДОМ БАРТОМ?

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ДЕКАБРЬ 2015 ГОДА

Под редакцией С. Н. Зенкина и С. Л. Фокина

Дизайнер обложки *С. Тихонов*

Редактор *С. Зенкин*

Корректор ???????

Верстка *Д. Макаровский*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

Адрес издательства:

123104, Москва, Тверской бульвар, 13, стр. 1

тел./факс: (495) 229-91-03

e-mail: real@nlo.magazine.ru

сайт: <http://www.nlobooks.ru>

Формат 60 × 90 1/16

Бумага офсетная № 1

Офсетная печать. Печ. л. 10. Тираж 1000. Заказ №

Отпечатано в ОАО «Издательско-полиграфический комплекс
„Ульяновский Дом печати“»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14